

До конца войны оставались считанные дни. И до Берлина, наверное, сотни километров не отмеришь. Взводу, в котором служил Михаил, было дано задание: провести подворный обход небольшой немецкой деревушки, убедиться, что в домах не засели фрицы и не обдали бы свинцовым градом, под которым могли оказаться в последние дни войны наши ребятушки. Такое нередко бывало в других населенных пунктах. К одному из домов и направились Михаил и его боевой друг Федор. Федор, подходя к кирпичному особняку, крытому красной черепицей, громко возмущался:

— Гады! Вот гады!..

Михаил, не замедляя шага, спросил не без удивления:

— Кого это ты так поливаешь?

Друг вроде бы и не слышал вопроса. Продолжал сыпать словами:

— И что им не хватало? Неужели от жира?

— Да кто тебе, Федяка, дорогу перебежал?

Тот чуть ли ни с обидой уколол вопросом:

— А то ты не знаешь?

— Конечно, не знаю, — улыбка так и не отлипла от лица Михаила.

— Ты прикидываешься или с детства головой обо что-то стукнутый? — казалось, злился Федор.

— Понимай, как хочешь. Только я вправду не знаю, чьи ты кости полоскаешь.

Федор даже приостановился.

— Фрицев! Кого же еще!? — передохнув, продолжил объяснять этому «чудаку

не от мира сего».— Ты посмотри, в каких они доминах живут. За каким таким хреном им нужно было наши деревни захватывать, жечь, людей свинцом косить? Ведь у нас что ни хата, то под соломенной крышей приютилась. В маленькие оконца избенки и белый свет с трудом рассмотреть удастся. А тут...

Они подошли к дому. Без стука, но настороженно открыли массивную деревянную дверь. Держа на изготовке автоматы, протиснулись внутрь дома.

Им в грудь ударила упругая тишина. Почти одновременно солдаты увидели женщину лет сорока — сорока пяти, притиснутую к кожаному дивану и прижимающую к груди девочку лет четырнадцати — пятнадцати. Михаила не удивило, что в глазах женщины метался ужас и страх, скомканные в одно целое и готовые осколками вырваться из глаз. Ей и ей подобным немкам внушили, что русские — дикие звери, способные на что угодно. Подумал: «И что она так вылупилась?» Он же не дикарь какой-то из далекой Орловщины, а парень, которому чуть за двадцать перевалило. Пороху в окопах и в боях на немецких сельских и городских улицах понюхал до рвоты. Но остался, как его иногда называли солдаты, которые ему в отцы годятся, «желторотым» юнцом, рядовым солдатом-пехотинцем. К тому же однополчане считали его «чудаком не от мира сего». А все потому, что он так и не научился почти за три военных года в немцев, пусть даже и фрицев-фашистов, стрелять из автомата без содрогания в сердце, лишать их жизни на веки вечные. Люди все же они.

Федор — уроженец глухой деревушки из-под Ельца чуть ли ни ястребиным взглядом скользил по большой комнате, которая служила для хозяев, скорее всего, залом.

— Кто еще в доме есть? — уперся он колючим взглядом в женщину, а его вопрос больше походил на допрос.

Немка в ответ неопределенно замотала головой: толи не понимала, о чем ее Федор спрашивает, толи подавала знак — в доме, кроме их, никого нет, но Федор не унимался и добивался точного ответа:

— Где твой мужик, немчура?

Она молчала, а ее покрасневшие глаза, казалось, набухли так испугом, как набухает зрелая почка на вишне от весеннего неудержимо-упругого сока.

Федор, догадавшись, что в доме кроме этих горемык никого нет, начал хозяйски осматривать комнату. Кресла и диван обтянуты натуральной кожей, полированные столы дразнятся своим сверканием от солнечных лучей, заглянувших в огромные окна. В шкафах и стенках бокалы и различные стаканчики, видимо, из хрусталя, тарелки на дне с красивыми пейзажными рисунками. Стоял и огромный шкаф, набитый до отказа какими-то книгами. На одной из стен в красивых резных рамках выстроились в шеренгу портреты видных мужчин, среди них был один в военной форме офицера и веселый юноша, игравший на аккордеоне.

— Живут же, гады! — Федору не давала покоя мысль от увиденного. — Их бы в нашу хибару, где кроме стола и лавки хоть шаром покати... Вон из каких стаканов пьют, да на расписных тарелках жрут. А у нас на стол мечут чугуны с целой или толченой картошкой да необхватные алюминиевые или деревянные блюда с квашеной капустой или огурцами и помидорами, соленными в дубовых бочках...

Михаил стоял неподвижно, уставившись в дальний угол зала. Он не мог отлепить взгляд от гармошки и аккордеона, которые соседствовали на небольшом полированном столе. Почему-то в первую очередь его заинтересовал аккордеон. Михаил впервые увидел, что инструмент с искривленным грифом. Бросилось в глаза его покрытие из целлулоида, а на клапанной крышке красовался логотип «HONNER». Совсем скромной, размером намного меньше была соседка аккордеона — гармошка.

— Не может быть!?! Да это же... ливенка! — и его голова вот-вот собиралась одеревенеть от догадки.

Подошел с осторожностью к инструментам. Глаза не моргали.

— Точно, она родимая! — дышать ему становилось все больше с трудом, пот величиной чуть ли ни с горошины на лице высыпал.

Для Михаила казалось, что не существовало войны, этого дома, этого зала, женщины и девочки, чуть ли ни приклеенных к спинке дивана. Он тут же вспомнил деда Игната, который слыл на всю округу известным мастером — скрепщиком, делавшим гармоники в деревеньки Речищи близ Ливен.

— А почему, дед, тебя величают не просто мастером, так еще и скрепщиком? — в юном возрасте спросил любознательный Мишатка, во что бы то ни стало мечтавший научиться играть на гармошке.

Дед как-то загадочно-медлительно разгладил усы, бороду, похожую на широкую лопату, с удовольствием начал пояснять внуку:

— Нашу ливенку мастерают разные люди. Одни изготавливают клапана, другие — планки, третьи — меха, четвертые — корпуса, пятым тоже дел хватает. А я у них, знамо, хороших мастеров, те части покупаю. Потом инструмент не только собираю и настраиваю, но и отделяваю его, сообразуясь со своим вкусом, а может и фантазией. Потому меня и таких, как я, в народе нарекли скрепщиками. А чтобы знали, кто из них сотворил гармонь, они оставляли свою метку на корпусе или где-то еще. Я на ремне, где расположены басы, вышиваю свое имя — Игнат Тюрин. Вот так-то, внучек...

Одну из гармоней дед Игнат подарил своему сыну Николаю, которого далеко за пределами деревни считали виртуозом в игре на ливенке.

Михаил приблизился к гармонии и прочитал на ремне: «Игнат Тюрин». Ладони рук так вспотели, словно их в воду макнули. Взял гармошку с такой бережливостью, будто она, как и бокалы в стенке, из хрусталя была делом сотворена. Растянул меха. Раздался звук, которому в комнате явно тесновато было. Он по душе и сердцу плугом прошелся, оставляя глубокий и ноющий след. У старшей немки вроде бы и ужас погас, слезой из глаз выкатился. Может, она вспомнила, как играл на этой гармошке ее муж или отец? Все возможно. Федор замер на месте. Зачем-то рот раскрыл и, не моргая, смотрел на Михаила. Видно, душой и сердцем тут же оказался в своей деревне, где парни и девчата до войны танцевали и плясали тоже под ливенку. А он словно по деревне вышагивал, держа грудь колесом, боевыми медалями позвякивая. И все девчата только в него свои истосковавшиеся взгляды впаивали. А Михаилу вроде бы из-за спины дед Игнат спокойно напоминал свой рассказ чуть ли не пятнадцатилетней давности.

— Наша ливенка, внучек, далекий-далекий путь себе протоптала. Родственница ее из Германии к нам пожаловала. А первые немецкие гармошки стали ладить в Туле. Они особым характером отличались.

— Они, как люди, с характером, что ли? — перебил тогда деда уж очень любознательный не по годам Миша.

Игнат для него широкой улыбкой не жалел.

— Характер, милок, у всех припасен — и у природы, и у скотины, а уж о гармошке и говорить нечего.

— Чудно ты, дед, гутаришь...

— Это ты понимай так, как тебе твой умишка нашептывает. А особенность тульских гармошек в том, что у них был разный тон звука при раздвижении и собирании мехов. По тульскому образцу решились открыть производство наши ливенские умельцы, но конструкцию гармони заметно переработали. Тон звука перестал зависеть от направления движения мехов и вообще они фактически создали новый оригинальный инструмент. Первоначально ливенка была одноголосой. То есть, при на-

жатию на клавишу открывался один клапан, и это приводило к возникновению одного звука. Позже появились двух, и даже трехголосые инструменты с различием по тону. Вот чем, милоч, наша красавица от первоначальной немецкой родственницы отличается.

Михаил перестал играть. У него в голове просквозила мысль: «А может аккордеон и наша ливенка — родственники? Вполне возможно...»

Федор громко выдохнул:

— Ну, ты, Мишк, и даешь. Тебе ни автомат в руках держать, а в атаку с гармошкой идти. Фашистов быстрее бы с родной земельки вытурили. Давно бы фрицу хендехо и капут скомандовали.

— Я то что? Вот мой отец ливенку заставлял и петь, и плакать, и вроде бы разговаривать с людьми. Когда он играл, то пальцы над голосами и басами, казалось, летали, невидимыми становились.

— Неужели лучше тебя играл? — не верил Федор словам Михаила.

— Я против него, как солдат рядом с генералом.

А Федора уже другая мысль голову теребила.

— И что дальше?

Михаил искренне удивился:

— Не понял тебя. Ты о чем меня спрашиваешь?

— Миш, не прикидывайся дураком.

— С чего это ты взял? — он пока так и не выпускал из рук гармошки.

Федор снимал взглядом мерки со своего боевого друга с ног до головы, но долгие всего его взгляд на голове тормозил. На немок ни один, ни другой внимания не обращали. Девочка, оторвавшись от груди матери, внимательно широко раскрытыми глазами рассматривала чужеземцев, не понимала ни одного их слова. Федор прервал недолгое свое молчание:

— Ты говоришь, что эта гармонь ваша?

— Да! Она моим дедом Игнатом сделана...

— Тогда свое к себе в дом и просится. Забирай гармошку, и пора отсюда ноги делать. Нам еще надо другие дома зачистить...

Михаил онемел на какое-то мгновение после таких слов друга, спросил, ничего не понимая:

— Как забрать?

— Молча! — и Федор поспешил объяснить непонятливому сослуживцу. — Неслучайно ваша ливенка тут оказалась. Так?

— И что из того?

— А то, чудная твоя башка, что эту гармошку, скорее всего, фриц, родственничек вот этих немок, захапал из дома твоего отца в сорок первом, когда зимой на орловщине хозяйничал.

Михаил из задумчивости выбраться пока так и не смог.

— Вполне возможно... — и тут же поспешил спросить. — А если эта гармошка в доме появилась задолго до войны?

— Хватит тебе чудить, Миша!..

— Я, Федь, чудить и не собирался. Ведь мой дед с конца прошлого века и до самой войны, знаешь, скольким ливенкам жизнь подарил?

— Откуда мне это ведать...

— Вот! — оживился Михаил. — Видишь, на портрете какой-то немчик на аккордеоне наяривает?

— И что из того?

— А может он или кто-то другой из этой семьи дедову гармонь купил. Как же я могу ее отнять у них?

— Молча! — не унимался Федор.— Они, гады, у нас столько жизнью отняли, а ты свою же гармошку взять или не взять раздумываешь, сомневаешься,— он явно злился.

— Ни в чем, Федя, я не сомневаюсь. Только хочу одного, чтобы вот эти немки,— он указал пальцем и метнул взгляд на женщину и ее дочь, которые в спешке вновь втиснулись в спинку дивана с такой силой, с которой, казалось, хотели в нем раствориться,— знали на века вечные, что русским ничего чужого не надо. Пойдем отсюда...

— А гармонь так и не возьмешь?

— Нет! Пусть она им всегда о нас напоминает...

Он поставил гармонь на то место, с которого ее взял. Ласково, как малого ребенка, погладил по корпусу. В глазах у него что-то блеснуло. После чего Михаил стремительно направился к выходу. Федор в нерешительности постоял посреди зала. Поглядел на гармошку с аккордеоном, на немок. Зачем-то покачал головой. С какою-то остервенелостью махнул сверху вниз рукой и направился следом за Михаилом. Бурчал так, что и совсем глухой его бы услышал:

— Не зря тебя, Мишк, чудачком считают...